

# ВОЛОКА

...По двум близким деревням Льговского района – Глинице и Кочановке – Чуваков Владимир Тихонович, зовомый Волокой, – известная личность. То есть, личностью в социальном или общественном значении его не назовёшь, поскольку не персона: не ветеран войны, не носитель особо весомых наград и званий, не обременён депутатским статусом, не назначался в начальники. Разговор же о том, что его в колхозные времена едва не двинули на звание Героя Социалистического Труда за ударную работу по удалению навозной жижи – перешёл в смутную область легенд. Не скажешь о Волоке, что он праведник, без которого, дескать, ни одно село не живёт. Какой из него праведник? Однако две деревни без Волоки были бы просто сёлами, которых много по Руси; населёнными пунктами, в которых люди каждодневно ходят на работу, если она есть, трудятся на подворье или в огороде, а вечерами смотрят уморительные телесериалы. Волока вроде той коричневой косточки в яблочном вине, от которого оно приобретает тонкую терпкость и настоящий вкус.

И не в том дело, что он долго живёт и почти не болеет. Он свидетель нашей жизни, жизни, лишённой из-за слухового порока оттенков и красот – хотя многие из «красот» лучше бы и не слышать, и – кто знает: может, Господь по состраданию оградил Волоку от них? Ум его остался неразвитым в сторону мудрования и опыта, который часто в глазах людей напоминает помойную яму, а сохранился как бы чистым листом бумаги, на котором кто только ни пытался писать своё, но в том не преуспел.

...Поднимаюсь от глинистой дорожной промоины к порядку глинических домов, минуя водоразборную колонку с веером брызжущей из-под резинового бандажа воды. Волокина хата плотно стоит в ряду других домов. Обшивка фасада, некогда крашенная весёлой жёлтенькой эмалью, которую сельские люди особо отличают, уже изрядно потускнела. На фасаде и под окном веранды набиты украшения из дощечек,

окрашенных в различные цвета – они напоминают то ли розы ветров, то ли просто стилизованные розы, стянутые посередине пестиками из колёс от игрушечного автомобильчика. Волока встречает на лавочке у ворот, жмёт мою руку своей большой расплющенной ладонью, приглашает в дом.

Он давно хочет со мной побеседовать и, может быть, о чём-то рассказать. Для чего и матери моей намекал: передай, мол, сыну... Вываливает на стол документы, как бы приглашает к интервью. Не знаю, правда, зачем оно ему нужно. Ну не берётся у Володи интервью. Никто из журналистской братии не может этим похвастать. Вопросы нужно Волоке кричать, но он, не расслышав, начинает виновато хлопать глазами и рассказывает почему-то про рыжего котяру без имени, который, держа на весу полуоторванную в капкане лапу, с неодобрением покосился на меня и проковылял за кухонную перегородку к молочной площадке:

– Ловит. Пойдётся на плотина ловить. Я в ловушка в хате поймаю, крича: «Мыша!». Он слыша, бежит с плотина...

Не знаю, хорошо ли иметь паспорт всего с одной отметкой о прописке. В иных паспортах этих отметок и штампов столько, что за край выпирают, а вот у Володи – одна. Не поверил, полистал паспорт снова. Нет, всё верно: он, родившийся в селе Глинице Льговского района Курской области 24.8.1919 года – по Глинице же ныне и прописан.

Волока суёт мне другие документы: удостоверения ветерана труда и ударника труда, удостоверение Льговского общества глухих, помятые и затасканные Почётные грамоты, выкладывает второстепенные награды за доблестный труд в Великой Отечественной войне, Трудовую книжку старателя. Она выписана Октябрьским приисковым Управлением треста «Амурзолото» в 1940 году, и отметок в ней побольше, чем в злосчастном паспорте. В ноябре 1942 года он уволен из треста по справке о болезни. Волока недослышал с детства, а окончательно потерял слух после осложнений болезни в золотодобывающей шахте под Читой. Уже в январе 1943 года принят конюхом-почтальоном на Льговскую опытно-селекционную станцию. Вернулся, значит. Но стоп...

Знаю Волоку с того возраста, как себя помню. До одиннадцати лет пришлось жить в Глинице, в той её части, которую принято называть «новосёловкой». Название села происходит от глины: малая глинка, глиница. Но глины здесь с избытком. На противной стороне глиницкого лога в огромных промоинах склона виднеются глиняные копи-цигельни: оттуда брали глину для обмазки хат и сараев. Я заканчивал Глиницкую начальную школу, располагавшуюся в бывшем господском доме, как расследовали краеведы, княгини Е. Толстой; потом родители построили

дом в соседней деревне Кочановке, и до совершеннолетия жил там. Но остались основания считать себя в какой-то степени и глиничанином.

Помнится руина Глиницкой церкви, В подвальных лабиринтах мы, мальчишки, искали клады среди куч пахнувшего мышами щебня; помнятся прохладные залы флигелька на барской усадьбе рядом со школой – в нём помещался сельский медпункт, в котором фельдшерницей работала моя мать; помнится длинный барак напротив церкви, приспособленный под клуб. Как мы рвались проникнуть на вечерний взрослый сеанс, с каким вожделием заглядывали в окна, с каким проворством наиболее юркие из нас протискивались в дверь мимо контролёра под прикрытием широкого пиджака колхозного тракториста! А перед фильмом взрослые парни и мужики, важно покуривая, играли на бильярде, установленном позади рядов стульев и табуреток. Вот Волока берёт кий, выстреленный деревенским умельцем, прицеливается и с приятным хрустким стуком вгоняет большой стальной шарик от подшипника в лохматую лузу. Отскочивший шарик, подпрыгивая, катится по бугристому сукну в другую сторону. Волока ставит торчком кий и довольно улыбается. Он в пиджачке с галстуком, причёсан, но клочок волос надо лбом, не подчиняясь гребню, торчит дыборком. Он в своём зрелом возрасте и, наверное, по-мужски красив: ясные глаза, удлинённый овал открытого лица, прямая линия бровей, литой ковбойский подбородок. У него, правда, оттопыренные, как лопасти локатора, большие уши – увы, почти глухие к звучным суетам этого мира... Мы слушаем разговоры подвыпивших мужиков, которые нам кажутся умными, ловкими и сильными, и ветерок восхищения овеивает нас.

Вот Волока в дождь ли, в снег везёт на длинной-длинной фуру, запряжённой крепкими битюгами, свои двадцать две молочные фляги на консервный завод на Льгов-второй. Два раза в неделю почти двадцать лет – сперва подменяя своего отца, а потом и самостоятельно. Мы ребятишками поджидали фуру в придорожных лопухах, потом догоняли её и цеплялись за стойки – покататься. Фура такая длинная и серьёзная – фляги протёрли в её днище удобные гнёзда – а Волока такой значительный и суровый. Он замечает нашу вылазку, оборачивается и с деланной строгостью грозит длинным кнутом, похожим на удилице.

Встречая Волоку ныне, замечаешь, что время не делает исключений ни для кого. Хотя и сейчас, на девятом Волокином десятке, ему не дашь его лет – и передние зубы целы, и на земле он стоит прочно, и даже регулярно ездит по делам на собранном из запчастей велосипеде – переднее колесо у него от подросткового велосипеда, заднее от взрослого – но груз прожитых лет подогнул и Волокину спину. И глаза его иногда заплывают стариковской немочной слезцой, и силы убывают: их остаётся лишь на то, чтобы обиходить жилую площадь, постепенно

уменьшающуюся, как островок суши на затопляемом половодьем поле. Всё меньше вещей становятся необходимыми, всё ограниченнее нужды... Но как ни горька бывает иная старость, клочок поредевших и поседевших Волокиных волос дыбится по-прежнему строптиво.

В Волокиной усадьбе всё расположилось, как захотело. В углу двора захотел и стал курятник, целых две телевизионные антенны стали на длинных похилившихся штангах тоже куда хотели – вокруг погребного взгорбка, и вон тот армированный шланг от молоконасоса лёг, как ему надо, но может передумать и, наверное, уползёт полежать в сарайчик напротив. Из живности у Володи кроме безымянного кота ещё куры и собачка, которая как раз дежурно тьякнула на меня, потом вылезла из будки по своим делам и, зевнув, убежала, куда хотела.

Да и в самой хате предметам полная воля. Нет сантиметра площади, на котором бы не лежали батарейки от слуховых аппаратов, и не висели бы провода от них. Они, кажется, повисли даже на рамке с изречением из Апокалипсиса: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» – осталось от матери, евангелистки по своей вере. И так же везде – часы и телевизоры. Часы ручные, карманные, настольные, висячие и стоячие – натащили односельчане на ремонт. На столе в горнице настенные часы с маятником постукивают анкером, рядом в положении полулёжа – будильник, на циферблате которого курочка каждую секунду клюёт зерно – это удалось восстановить. Остальные будильники кучами лежат под кроватью, в красном углу, у стены, обречённые на разборку или в расход на запчасти.

– Всё сам делай, – объявляет Волока. – Часы делай, телевизир.

Если бы не телевизоры со снятыми крышками или даже без внутренних механизмов, если бы не швейная машинка «Зингер», не стиральная машинка «Малютка», не комод, подпёртый кирпичом вместо ушедшей куда-то ножки, Волокина хата производила бы впечатление некоторой пустынности. Есть ещё особо ценный в деревенском обиходе ручной пресс, неработающий холодильник, несуразно пузатый кактус со свежее-зелёным боковым отпрыском, Библия с иллюстрациями Карольсфельда и огромная русская печь, из пасти которой торчит соломенный пук на растопку. Если чего не отметил, то и тому Волока, судя по всему, террора не объявлял: оно тоже стоит или лежит, как хочет.

Волока знает, что я что-то там пишу. Сам он читать не научился, а теперь, вишь, и поздно. (Хотя некоторые утверждают, что он может разобрать газетные заголовки, а при некотором усилии ума разберёт и написанную на конверте фамилию – иначе как бы он смог работать почтальоном?) Но раз другие пишут,

значит – так надо. Волока догадывается, что письменная речь делает широко известными обстоятельства частного рода и даже микробные по своему значению, о которые и не споткнёшься, как о песчинки на дороге. Но люди же читают написанное, понимают запечатлённые буквами мысли, проникаются невидимым духом слов и, следовательно, делаются много умнее и осведомлённее. Наверное, для Волоки в письме заключено волшебство, в полной мере им не сознаваемое. Как в недоремонтированном телевизоре: подкрутишь частоту строк, ворохнёшь яркостную лампу, тронешь ручку тембра – и вот мутный президент, общающийся с толпами непонятного народу, вдруг лучезарно заулыбается и заговорит с рабочими секретного завода правильным русским языком.

Свист и периодический вой в головке слухового аппарата слышен и постороннему. Волока суёт в коробочку аппарата новую подвернувшуюся батарейку, и та на остатках энергии шевелит паразитными шумами одеревеневший слуховой нерв. Когда Волока дал мне послушать, что получается на выходе усилителя в головке, вставляемой в ухо, и в заушном приборчике, который колеблет, как резонатор, черепную кость, стало понятно, что и сам скоро начну разговаривать с шипением и прицокиванием, как Волока. Долго этот пыточный опыт не выдержишь. Да ещё по безначальной грамотности Волока словам мужского рода приделывает женские окончания или наоборот – а то и вовсе обходится без всяких окончаний и без правильных стилистических форм. Да и зачем окончания, когда ещё не всё в жизни окончилось?..

– Вшё шам – докладывает Волока с явной радостью. – Часы, лисапед, шпицы вошштановил, ездя. Напиши: меня зовут Самоушка. Полтан помнишь? Кужнец. Коня подкуёт – на неделя. Я подкую, подточу, месяц-два ездя...

Он видел, как в Глиннице появлялись новые крохотные односельчане, помнил их и сопливыми и босоногими, потом замечал, как некоторые из них заканчивали школу, институты и техникумы, становились начальниками и приезжали в село в отпуска и по великим праздникам. Другие уезжали на просторы Союза; кто строить атомные станции и химические комбинаты, эти оплоты советской технической цивилизации, а кто за голубыми туманами романтики на Камчатку; оседали в полуночных углах мира, на необитаемых островах, а потом возвращались, не отыскав своей доли. Вокруг старели старики, кое у кого из молодых тоже рано кончался порох – и скольких уж пронесли мимо на погост. Кто куда, а Волока кажется вечным. Какое-то время он отсутствовал в Глиннице по трудовой повинности, налагаемой государством даже на своих полуглухих вербованных подданных, добывал золото в тайге. Казна обращала золото в танки и самолёты, в хлеб и порох.

– Тут шахта, там шахта. Двенадцать метров глубина. Воздух нема, мокро, холодно, плака видно – не разбирайся. Человек полез у шахта – он не може. Меня посылая, меня не боится, у меня хорошо. А проштыл, голова потеря. Вшё...

Потом вернулся. Работал почтальоном. В любую погоду пешком по обоим сёлам разнеси газеты, журналы, письма. Народу в нашем кусте было много, а ещё больше родственников растеклось по сторонам света, все друг другу писали, справлялись о здоровье, поздравляли с праздниками, делились радостями и горестями. Живая ниточка связей тянулась вслед за Волокиными ногами по хрусткому снегу, по летней пыли, по осенней распутице. Работал возчиком-молоковозом, с конями управлялся, как никто. Приучил их прикидываться заболевшими: кони легли, значит – и Волоке можно передохнуть. Видно, отгулов он не знал.

– Поехал зимой на санях. Провалился на заводской плотина.

Ясно видишь эту картину: парящее зеркало сахарного пруда, окованное по крайкам ледяной рамой, раздёрганную колею на мостках, лошадей, барахтающихся в переливном канале, молочные фляги, плывущие по течению.

– А потом?

– Мужики прибежали, вытаска.

Где они теперь, эти неведомые вездесущие мужики, которые могли сбежаться с округи и вытаскать?

...На пенсию Волока ушёл в 1987 году. Откормочный совхоз, в который преобразовался колхоз «Красный Октябрь», нуждался в слесаре по навозоудалению. Уже не только городские жители не ведают, но и многие деревенские забыли, что это только на кухонном столе молоко выглядит белым, и что парное мясо получается из животных, прошедших процесс «производства». А его сопровождают неаппетитные запахи побочных «отходов», проходящих по вечно ломающимся смывным желобам, через заедающие цепи и шнеки. И кто-то же должен это ремонтировать и поддерживать в рабочем состоянии, на что охотников, как правило, не сыскать. У Волоки же, как у многих деревенских мужиков, – врождённое чутьё машин, понимание механизмов. Такому достаточно взглянуть на любое устройство, проникнуть в расположение его частей и в способ взаимодействия, чтобы понять и принцип работы. А если пару раз разобрал-собрал – так уже и механик. Волока и погрузился в это дело, много своего придумал для надёжности, совершенствуя «процесс».

Получал за эту грязную работу Почётные грамоты и премии и однажды получил и передышку: путёвку на отдых в прибалтийский санаторий. Было и такое на Руси: слесарь по уборке жижи мог съездить в дом отдыха или в санаторий по профсоюзной путёвке, с доплатой собственных семи рублей двадцати копеек! Так полагалось. Волока, конечно, надел свой галстук и поехал отдыхать. И что?

– Поломая. Шемь человек делаль, не могли.

Столько человек не могли справиться работу одного: насосы ломались, жижа бурлила, скот мычал, народ метался. Похоже, эта картина тешит Волокино воображение до сих пор, ведь получается, что он исполнял работу семи человек. Отсутствие одного слесаря поставило на грань жизнедеятельности целую ферму. Потому Волока живописует эту картину с наибольшим воодушевлением: пиши, говорит, что лучше не было человека. Я и пишу. И думаю – что бы ему Героя не дать! Это было бы честно...

Радость Волоки неподдельна, гордость наивна. Таков Волока. Как ни верти – он один такой на целых две деревни. И его детское бахвальство не воспринимается как гордыня, а скорее – как просьба признать его незаменимость.

Волока выразительно показывает на горло и, получив в ответ понимающий взгляд, начинает перечислять:

– Яблока вино, вышня вино...

Идёт в горницу, долго что-то перекладывает и, видно, из-под груды будильников достаёт и нужную сулею. В ней оказывается такая подозрительная самогонка, которую не с чем сравнить. К закуске полагаются мочёные огурцы и капуста, варёные яйца, отмытые под краном, и свежий хлеб, за которым Волока с утра съездил на велосипеде: вон, даже прищепку с колошевины штанов забыл снять. Ничего бы и не нужно, чтобы вновь погрузиться в область воспоминаний, но, заметив, с каким сопротивлением организма поступает в него питиё, он приносит бутылку с саморучно сваренным калиновым сиропом. Доложу вам: самогон любого качества с калиновым сиропом – или наоборот – отменная штука. Волока выпить при случае не откажется, хотя и не любит – голова болит.

Волока восстанавливает время не по событиям общественно важным и государственно значительным, даже года не помнит, когда что произошло: «Не шкажу. Мнока было, да забывая я». Для него события, видно, отсчитываются от старательской артели, затем работы почтальоном, возчиком, слесарем. Помнит, как на сахзаводе поднесли бидончик со свежей сгущёнкой, и весь бидончик он тогда же и откушал: «Вкушна. Домой приеха: «садиць обеда» – а я не хоцу». Он смеётся и

довольно всхрапывает. «Астахов помнишь? Председатель? Бандеровец. Людей бил. Шуреиху поймал с гусями, гусей бил, палька». Тот председатель остался в памяти не одного поколения глиничан и кочановцев. На гусей, забредших на колхозные зеленя, выходил с двустволкой – приучал к дисциплине. Сколько стонали от него деревенские жители, сколько пытались переизбрать, но вышло по-райкомовски. Раз уж никто его добрым словом не помнит – пошли Господь мира его душе. «А Николай Иваныч. Слюсаренка. Хоть и хохол, а мужик – во-а-а!» Возглас во-а-а! в устах Волоки выражает степень восхищения. Он даже внешне преображается и всхрапывает, подчеркивая своё особое отношение.

«Баня обслуживал, никто не оплача (не оплачивал), водокачка. Плока. Ушёл. Трубы преют, водокачка ломается». У него остались обиды на несправедливости совхозного начальства. Человек помогал – это принимали, как должное, но работу уже не оценивали.

Тишина теперь на той ферме, колхозный свинарник скоро растащат по хозяйству до последнего кирпичика фундамента, жизнь здесь постепенно затухает. Бог знает, когда в России решится с землёй. Но в Глиннице уже не будет по-прежнему. По-европейски – так земля не свята, и может стать товаром, как, может быть, скоро товаром станут воздух и чистая вода. В традиционном обществе, которым до недавнего времени была моя страна, владели не землёй, а правом на её использование, и природная рента, естественное богатство, происходящее от избытка природы, не присваивалось небольшим кругом лиц, а распределялось равномерно. Но в обществе современном, европейском, процент снимается даже со зрелища звёзд. Везде экономия. И, наверное, на бывших колхозных, а потом частных свекловичных плантациях мы скоро увидим негров и трудолюбивых китайцев – их работа будет дешевле аборигеновской.

Мне много стало дорого в этом уходящем мире, В этой отшумевшей жизни. В ней было и светлое и доброе, что заключено было в людях и что греет сердце с каждым годом всё теплее. Мне нужны воспоминания об ушедших людях и теперь думаю о том, чтобы и самому стать нужным нынешним жителям моей родины.

Вот и Волока о том же... Самоучка, старатель, будильники ремонтирует, телевизоры. Как и каждый человек, он хочет увериться в том, что не зря жил, что от его появления на свет какая-то польза людям произошла. Вот писака напишет о Волоке, много людей узнает через газету о том, что он, выходит, за семерых работал, носил почту, качал воду в баню, удалял жижу – значит, всем нужен был, поскольку без него не обходились. Ему требуется быть нужным, хочется быть в чём-нибудь полезным людям. А в этом, пожалуй, и смысл жизни – быть нужным людям.



«Всё сам». «Сам» по-нашенски – один. По слухам, Волока был три раза женат, и неудачно. Детей не завелось. Но вокруг живут соседи, навешают сестры Эмма и Тамара. С Волокой живёт кот с оторванной лапой, собачка в будке. Так надо, чтобы живая душа чувствовала соседство живого...

Когда Волока запрокидывает голову, допивая стопку, аппарат за его пазухой начинает пронзительно верещать. Думаю, там встроен индикатор, сигнализирующий о превышении нормы, или даже о перемене темы разговора.

Волока вспоминает про «рели», в незапамятные годы его детства установленные напротив их дома по давнему обычаю на Пасху:

– Двенаца или пятнаца метров. Такой вышокай. – Он с сомнением смотрит на меня, ожидая опровержений, но я появился на свет значительно позже и ничего о «релях» не знаю. – Люлька на колесо, повозка, шель человек сядились, крутились с размаху. Штрах. – Волока, вероятно, имеет в виду кузов пролётки, подвешенный канатами к тележной оси: забава грандиозная, и недаром Волока помнит такие подробности. – Из всех деревень приходиль. С Арсенюшки, с Кочановка, с города мужики приходиль. Иж Малеевка, правда, не жнаю. Мать взял ребёнка на рука, каталась так. Девка упала, убилсья.

Замечаю, что неправильная Волокина речь свободна от смысловых нечистот, бранных слов и выражений, которые обличали бы ум загрязнённый и совесть ушербную. Не слышно даже беглого склизкого матерка, на который давно не обращают внимания ни говорящие, ни слушающие. Нет привязанности к тому, что названо «низкими истинами», к скверне жизни. Речь по-детски проста, а её неправильности, скорее всего, от того происходят, что Волока издавна и часто не слышал звука собственного голоса.

...Весной к Волоке прилетает аист.

– Крыла ражбила. Я помогаль, зимой у хате держа, крыла лечиль. Хлеба не есть, каша не есть. Мяса нада. По огороду ходить, по плотина, лягушек собираить.

Каково целую зиму жить с колченогой зверюгой в одном доме! По ночам, небось, он, стуча когтями по дощатому полу и щёлкая длинным клювом, заглядывал во все щели в поисках лягушек и мышей: ведь его мясом нужно кормить... К весне поправилсь, затеял строить гнездо, однако не на колесе, которое Волока приспособил на длинный столб, вкопанный перед домом, а в саду. И с той поры каждую весну на это гнездо возвращается аист: сперва тот, который поранил крыло, потом его птенцы. Волока довольно машет рукой:

– Яно само летае. Я не пугаю.

Волока собирает посуду, вытирает кухонную клеёнку. Телевизор на краю стола снова капризно подсел, угрожающе накаляя кинескоп. Добавил ему контраста, подсыпал гетеродинчику. Сложил в стопку «документы», выписал кое-что для себя.

– Пиши, пиши, – подбадривает меня Волока, выглядывая из-за корпуса телевизора, приспособленного под посудную полку. – Мнока-мнока.

И то стараюсь. Во-а-а сколько написал! Осталось последнее...

Приглашаю Волоку на улицу – фотографироваться на лоне, так сказать, глиницкой природы, в произведениях художественной литературы пока классически не описанной. Что с неё возьмёшь – лесостепь, глухая окраина Дикой степи, которую обошли и нитки газопроводов и асфальтовые дороги: поля, колки, сталинские снегозащитные посадки, холм, известный округе под названием Чёртов бугор... Волока старательно хомутает галстук под воротничок голубой рубашки. Он уверен, что галстук – признак культурного человека. Фотографироваться нужно, кто спорит, – фотографироваться все любят, и Волока не исключение. Человек рано или поздно покинет этот свет, а кусочек картонки с его изображением будет долго храниться. Люди потом посмотрят и скажут: да-а, этот человек, действительно, был лучше всех.

Снял его сперва на фоне Глиницкого леса, потом на лавочке у ворот, из которых, куда им надо, ходили куры. Шифер и доски с навеса над лавочкой оторвались и ещё раньше куда-то ушли.

С лавочки у ворот очень много замечается. Деревенская лавочка – это и место форумов, на которых обсуждается серия вторую пятилетку длящегося фильма; это местный телефон, по которому узнаются последние новости; это наблюдательный пункт за проходящими мимо (кто пошёл, что понёс?), и наиболее удобная точка созерцания. Нет, без лавочки в деревне не жизнь, а прозябание.

С лавочки созерцателю мир открыт и понятен: вот земля, вот открытое русское небо. Вот качели, бледное подобие тех «релей», на которых Волока в далёком детстве с замиранием сердца взлетал к облакам в расписном кузове от пролётки. Теперь на этих маленьких качелях, постановленных напротив хаты в воспоминание о тех сказочных «релях», одиноко качается соседская девчонка. Её подружки своевременно не родились, а теперь, видно, уже и не родятся. Так что некому полюбоваться высоким махом верёвочной сидушки, колокольцем надувающегося платица, некому приметить и грустинки в девчоночьих глазах.

Вот глиницкий лог, за которым на буграх раньше стояли хутора Ишков, Кошелёв, Пиллюлихин, а теперь виднеются лишь кущи праздных деревьев. В

ответвлении лога произрастал лесок Окоп, в котором помнятся высокие сосны. Их при барах ещё сажали, до революции, а в скудные советские годы они сгодились в обиход глиницкому мужичку. В соснах зрела сладкая земляника и пучились грибы. Теперь зелёная травка силится затянуть пустые траурные склоны, почерневшие от скверного обычая последних лет – пожаров сухой травы.

Ах, эти глиницкие бугры, лога и провалья! Всё было истолчено детскими ногами, всякая кочка была оббита собственными боками, каждая ложбинка исползана. Как весенний грачиный грай стояло над Глиницей эхо детских голосов. И воздух тогда был иным, и небо казалось светлее, и весна зеленее. Куда всё ушло?..

И люди с этой лавочки понятны и видны, как на ладони. Вот идёт бандеровец, а вот человек – во-а-а! Все ведь знают друг другу цену...

...Прощаюсь. Волока просит доставить ему пять газет с той статьёй о нём, которая будет опубликована. Я говорю, что, может быть, это будет не газета, а журнал. Помолчав, Волока говорит:

– Тогда цетыре.

Он думает, что хитрый.

Жму его большую ладонь, как прохладное узловатое сосновое корневище, и возвращаюсь по глиницкой дороге домой в Кочановку, к матери. Вечереет. Над милым покоем стоит тишина, прерываемая тонким ржанием жеребёнка, взгавкивают во дворах чуткие псы. В амальгаме водяной глади на гусином пруду отражается бирюзовое темнеющее небо.

Ухожу от Волоки, обогащённый новыми сведениями. Если у селёдки крашный глаз – значит, селёдка свежий. Калина – от головы. Трубы преют, весь мир переполняется жижой, которую нужно удалять. Вшё шам. Так же требуются вода, молоко и калиновый сироп. Хорошо насадить эту калину, а потом и вишню и сливу перед домом, как Волока – приходи, кто хочешь, и ешь. Если что куда провалится, то ещё осталась надежда, что прибегут мужики и вытащат. И, кажется, очень хорошо иметь всего одну отметку в паспорте: село Глиница Льговского района Курской области. Так по святому Иоанну, творцу Апокалипсиса: «Будь верен до смерти...»

Весна, сокодвигение. В стволах, на ветках распускаются листочки. Аист скоро прилетит на гнездо в Волокином саду, станет по своему обычаю на одну ногу, начнёт вертеть головой, целить длинным клювом туда и сюда, будет смотреть вместе с сидящим на лавочке Волокой. Сверху-то больше видно. За спиной Волоки в хате тикает будильник с курочкой на циферблате, каждую секунду склёвывающей

невидимое зёрнышко, а впереди располагается важная в своём виде и значении природа. Нечувствительными дуновениями и эманациями просторов, тенями в логах, теплотой пригорков, магнетизмом кайнозойских глин она слепила душу человека, которая получила окончательную формовку долгими зимами, пышными летами, тоскливыми осенями и такими вот, как сегодня, неторопливыми раздумчивыми вёснами.

Как раз под Волокиной хатой в логу огорожен полуистлевшим срубом родник; чистая ледяная вода изливается из него с превеликим стремлением и утекает по логу. Тем, кто знает об этой необыкновенной водице, не лень и с флягой наведаться сюда, и не в обузу бывает вспереть её на крутояр. Остальные – завидуйте. Далее эта вода сливается с другой, из кочановского лога, а потом километрах в пяти ниже попадает в сахзаводской пруд, образованный на русле речушки Апоки. Апока же, как известно, впадает в Сейм, Сейм – в Десну, Десна прибегает к Днепру. Постепенно разжижаясь не совсем стойкими и не очень прозрачными водами промышленного мира, струйка глиницкой воды дотечёт до Чёрного моря, потом через пролив Босфор, Мраморное море, пролив Дарданеллы впадёт и в Средиземное море. Окислившись там в стоках всего афро-азиатского и европейского смрада уже не струйка, а чайная ложка этой особой воды, прокрадётся через Гибралтар и в Мировой океан.

И вот какой-нибудь смуглый, лупоглазый, с синими белками глаз лаборант гидрологического пункта пойдёт утром посреди цветущих пальм к морю брать ежедневную пробу воды. Приникнув потом к окуляру микроскопа, он станет лупить белками, чтобы уразуметь её состав, и заметит, наконец, одну молекулу, отличающуюся чудными свойствами. Вот позовёт он свою подружку – или товарищей по науке – и те станут по очереди тоже лупить белками в микроскоп, а потом гурьбой побегут на берег своего отдалённого острова и, приставив ладони козырьками ко лбам, станут вглядываться в безответную морскую даль и гадать, откуда к ним попала чудная молекула необычайной воды.

Конечно, они ничего не знают про Глиницу, и Волока, сидящий на лавочке, им не известен. Может быть, они наморщат лбы и усумнятся в том, что видели частицу той воды? И напрасно усумнятся.

Уж одна-то молекула воды из чистого родника, бьющего в глиницком логу под Волокиной хатой – в Мировом океане есть; и приплыла она сама, куда хотела.

Потому что так надо.